

УДК 82

БАЛАНСИРУЮЩИЙ РОЗАНОВ: ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО ТВОРЧЕСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЯ

© 2009 г.

Н.К. Кашина

Костромской госуниверситет им. Н.А. Некрасова

kashtann55@rambler.ru

Поступила в редакцию 21.04.2009

Сложные религиозные представления В. Розанова складывались из языческих и христианских начал, которые исходили, в его представлении, от единого Творца. Именно в религиозном творчестве как в высшей форме человек может, по мнению мыслителя, достичь истинной цельности. Весь творческий путь писателя от трактата «О понимании» до «Апокалипсиса нашего времени» и «Возрождающегося Египта» был наполнен драматическими поисками «истинной, всемирной и живой религии». «Вечный филолог» В. Розанов обретает в этих поисках свой неповторимый язык.

Ключевые слова: язычество, христианство, бессмертие, символ, архетип, картина мира, вечное Отцовство.

В так и не понятом современниками трактате «О понимании» В. Розанов как высшую форму творчества определил религию: «Нигде человек не переступает того тесного предела, которым ограничен он, и даже в науке, поднимаясь в высшие сферы умозрения, он остаётся только ничтожною частицею мироздания, он сознаёт себя отделённым от этого мира, потому что сознаёт этот мир как внешний объект своей мысли; и только в той отрешённости от всего личного, от всего временного и земного, которая составляет сущность религиозного чувства, человек как бы освобождается от уз своих и сливается с Космосом и его вечным развитием в одном великом, всепоглощающем мировом чувстве» [1, с. 425–426]. Именно в религиозном творчестве природа человека получает осуществление своего величия и красоты.

Религиозное чувство, сопровождающее акт творчества, по Розанову, отрешено от повседневности и конкретных причин, но именно эта отрешенность от внешнего мира и погружённость в мир внутренний позволяют человеку проникнуться бытием.

Другая особенность религиозного творчества заключается в том, что в моменты его осуществления человек ощущает себя цельным: «Религиозное учение содержит в себе все элементы человеческого существа, не чуждо ни одного из них: оно всегда и одновременно бывает проникнуто и глубокою мудростью, и чистою нравственностью – хотя не есть нравственное поучение, и исполнено высокой красоты – хотя не создано художественным чувством» [1, с. 428].

Жажда цельности порождена у В. Розанова не просто стремлением философа осмыслить бытие, а осознанием неминуемого разрушения человека в современном мире, ибо с падением религии навсегда будет потеряна возможность подняться к первоосновам жизни. Такой первоосновой всего сущего является воля Творца, связь с которым и осуществляет религия.

Причину разрыва этой связи В. Розанов видит отнюдь не в успехах науки: с его точки зрения, оскудение жизни человека начинается с роста кажущегося благополучия: «Человек страшно глубоко погрузился в жизнь, он никогда более не остаётся наедине с собою. Он не думает о том, что внутри его, потому что должен ежеминутно думать о том, что вне его. Быть может, душа и есть, и это что-нибудь и значит; но ему некогда останавливаться на этом, потому что несомненно, что у него есть нужное дело и что много будет значить, если оно останется невыполненным» [1, с. 490].

Так уже в начале своего творческого пути В. Розанов понял разрушительный для духа путь цивилизованного существования: оно незаметно, но неизбежно изменяет саму природу человека: «Кто думал о безопасности для всех высших форм творчества, когда, усложняясь и ускоряясь, жизнь невольно увлекла в свой поток человека и смысла всё, что в нём поверх животного?» [1, с. 491].

В поисках путей к высшим формам творчества мыслитель представил единый религиозный процесс, в котором обнаружил и сформулировал законы развития. Он предложил раз-

делить религии на объективные и субъективные. Первые возникают в стремлении объяснить природу, и тогда идея Бога *привносится* во внутренний мир человека *извне*; они вытекают из внутренней потребности в совершенствовании своей природы, а идею Божества вторые, субъективные, *вносят в мир*. Первого типа религии переживают несколько этапов развития, а достигнув стадии пантеизма, в конце концов «переходят в философию», замещающую их. Иная судьба у религий субъективных: они перерождают внутренний мир человека, обновляют все стороны его жизни, но не замещаются философией, так как неоднородны с ней: «Как геометрические теоремы рассеивают неправильные понятия о пространстве, но не могут ни на йоту утишить боли; как знание астрономии разрушает ложные представления о вселенной, но не может ни на минуту утолить грусть или рассеять чувство одиночества, беспомощности, внутренней пустоты, – так религия, из внутренних потребностей человека возникающая, не может быть оставлена им, когда появляется наука и философия, потому что эти последние не для того, для чего она, и что удовлетворяется ею, того не удовлетворяют они» [1, с. 513].

Высшая форма творчества развивается как реализация закона синтеза. В качестве примера его воздействия автор трактата ссылается на опыт греческой философии, пришедшей в своём развитии к скептицизму и обратившейся к мистике Востока. В результате соединения рационализма греческой философии с чуждыми всякого рационализма учениями Востока родилась Александрийская философия.

Идея синтеза становится основной, когда В. Розанов формулирует *конечную форму* религии, к которой она стремится в своём развитии: это религия *истинная, всемирная и живая*. Эта форма, к которой, как подчёркивает мыслитель, стремится религиозное сознание всего человечества. Такую религию и пытался обрести мыслитель на протяжении всей жизни, переживая опыт религиозного прозрения с древними египтянами, иудеями, мусульманами, оставаясь при этом православным христианином.

Всемирность религии обусловлена изначально единством мира, сотворённого Господом. *Истинность* определяется соответствием той или иной религии цели восстановить отношения между человеком и его Творцом: истинная религия *осуществляет* эту связь, неистинная – лишь *стремится* к этому. В своём трактате В. Розанов не поясняет, как определить истинность и жизненность религии, он, скорее,

определяет таким образом перспективу своих устремлений в будущем – устремлений к непосредственному переживанию религиозных прозрений.

В. Розанов, «вечный филолог», заставляет слово балансировать между бесконечно разрастающимся смыслом и непосредственным восприятием, не позволяет ему оторваться от плодотворной почвы, пусть грубой и неэстетичной, но способной взрастить полновесный колос. Таким словом становится символ, который можно воспринимать всеми органами: вдыхать его запах (не всегда аромат), тонко улавливать интонацию, распознавать его тепло. В. Эрн назвал писателя даже «слишком термометричным»: «Розанов термометричен по отношению к близким, непосредственно примыкающим к нему земным слоям. Много изумительного говорит он о тончайших колебаниях близлежащего «тепла и холода», впадая в чудовищные ошибки о далёких краях и особенно об онтологических глубинах земли» [2, с. 365] (очевидно, говоря об онтологических ошибках, В. Эрн, как и многие современники В. Розанова, имел в виду его сложные отношения с христианством).

Дело в том, что само **тепло** у В. Розанова обладает онтологизмом: «И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тёпел, удобен и кругл. Работай над «круглым домом», и Бог тебя не оставит на небесах» [3, с. 60]. Впрочем, гораздо раньше, в первом коробе «Опавших листьев» В. Розанов признался: «Я был удивлён. Моя «новая философия», уже не «понимания», а «жизни», – началась с великого удивления...» [3, с. 242]. Удивился же он тому, что в маленьком домике «в 4 окошечка», где жила его вторая жена, впервые встретил *благородных людей* и *благородную жизнь*. «Мир для меня был не Космос (*χῶμα* – *украшаю*), а Безобразие и, в отчаянные минуты, просто Дыра, – пишет автор о своей жизни до знакомства с обитателями этого домика. – Мне совершенно было непонятно, зачем все живут и зачем я живу, что такое и зачем вообще жизнь? – такая проклятая, тупая и совершенно никому не нужная. Думать, думать и думать (философствовать, «О понимании») – этого всегда хотелось, это «летело»: но что творится, в области действия или вообще «жизни» – хаос, мучение и проклятие» [3, с. 242].

Переход от философии *понимания* к философии *жизни* был ознаменован появлением в текстах В. Розанова новых символов. Следует отметить, что розановские символы различны по происхождению: от наполнения символическим смыслом слов семантического поля **дом**

(уют, тепло, малиновое варенье, с которым надо пить чай гимназистам и студентам вместо того, чтобы решать риторические для России вопросы «кто виноват?» и «что делать?»), огурчик с прилипшей ниточкой укропа – все эти тихие радости, сохраняя свою конкретность, возводятся в ранг космического порядка, ибо и сам дом – это модель космоса) до обращения к коллективным по своей сути, если вспомнить К. Юнга, символам. Так, например, мыслитель описывает «величайший из всех символов» – Древо Жизни: «Это – действительно прекрасный символ. Он образует – род, рост, связь всех явлений. Образует «целое» живой мировой жизни, – и для этого действительно прекрасно выбрано что-то ветвящееся, «отходящее» от ствола и вместе с ним «связанное»; выстроена «лестница», всё подымающаяся к небу, всё расширяющаяся, точно пополняющая собою «поднебесную»...» [4, с. 166]. Довольно традиционное значение символа В. Розанов дополняет своим: листьями древа называют себя люди, которые принимают «солнечные лучи – свет солнца со всех краёв земли (курсив мой. – Н.К.)». Сам он этот свет нашёл в древнем Египте, победившем смерть зерном Озириса.

В. Эрн упрекнул писателя в чудовищных онтологических ошибках. Действительно, розановская модель бессмертия слишком физиологична: семя, прорастающее зерно, которое в «Возрождающемся Египте» становится ещё и жуком скарабеем: «Ведь зёрна хлеба, «и трав, и дерев» (см. «сотворение мира») – всё это живые скарабейчики. Вместе – всё это глазки, Озирисы...» [4, с. 218]. Впрочем, скарабей становится и цветком, а точнее, бутонем, «из которого вырастают и Озирис, и Изиды», да и сам Египет В. Розанова становится «цветочной цивилизацией». «А человек не иначе рождается как и плод: просто выходит из цветка; из цветка матери своей», – пишет автор «Возрождающегося Египта» [4, с. 149].

Ещё в первом своём трактате В. Розанов за многообразием жизненных явлений различал первоформу, к которой в процессе понимания это многообразие и сводится. Семя, скарабей, цветок – это архетипы, порождающие в розановском мифе бессмертие. Любопытно, как возникает у мыслителя мифологический сюжет: рассматривая древнеегипетские рисунки, он вдруг увидел, что мумия напоминает куколку бабочки, и тут же появляется новая интерпретация. Уже в «Апокалипсисе ...» читаем: «Мотылёк – душа гусеницы (<...> И никакого «ада и скрежета зубовного» там, а – собирание нектара с цветов. За муки, за грязь и сор «землеле-

лие» гусеницы, за гроб и подобие, – но только *подобие смерти* в куколке, – душа восстанет из гроба; и переживёт, каждая душа переживёт, и грешная и безгрешная, свою невыразимую «песню песней»...» [5, с. 25–26].

Для В. Эрна же безусловно утверждение: «Из всех религий одно христианство всегда дерзало не только мечтать о будущей победе над смертью и временем, но и религиозно базировать эту величайшую из всех надежд человечества на уже *свершившемся* факте победы над смертью – на светлом Христовом *воскресении*. *Победил смерть* Христос» [2, с. 197].

Чудовищная онтологическая ошибка В. Розанова заключается в понимании самого Христа. Автор «Апокалипсиса...» всё время обвиняет христианство в безжизненности, бессеменности. По его словам, Евангелие – «книга изнеможений», в отличие от «ревущего», «рыкающего» Апокалипсиса, который «*в структуре могущества и показывает суть свою*». Трагическая ошибка, на наш взгляд, читается в словах: «Евангелие – *человеческая* (курсив мой. – Н.К.) история, нам рассказанная; история Бога и человека; «богочеловеческий процесс» и «союз»» [5, с. 589].

Для В. Розанова слова *рождение* и *воплощение* – синонимы, причём именно рождение является определяющим. Не случайно в его текстах никак не толкуется Троица как триединое воплощение Бога. Ветхозаветный Бог – единственное начало мира, но тогда сам Христос – либо человек, которого и не понимает В. Розанов из-за его «небытийственности» («Христос не посадил дерева, не вырастил из себя травки; и вообще он «без зерна мира»...» [5, с. 590]), либо «только имя», только «рассказ».

Эта *ошибка* – отнюдь не личное заблуждение мыслителя. Мы порой слишком легко говорим о том, что в конце XIX в. позитивизм преодолевается философами (может ли философская система, властвовавшая над европейскими умами несколько столетий, враз и бесследно исчезнуть?). Ницше этот кризис переживался на грани безумия, которое, по словам В. Эрна, *обосновано* всей историей новой философии: «Основной принцип этой философии, *ratio*, в корне своём поражён болезнью дурной отвлечённости. Минувшая действительность, *ratio* с необходимостью вовлекается дурной своей логикой в пустой схематизм. Разрыв между сущим и мыслью, между формой и содержанием, между априорным и апостериорным, между явлением и тем, что является, – этот фатальный, поистине трагический разрыв, корень в самом существе *ratio* (<...>

закрепляется и становится каким-то кодексом, какой-то священной скрижалю для огромного большинства философов XIX века. А между тем в этом разрыве уже заложены корни *безумия*» [2, с. 277].

В. Розанов в трактате «О понимании», казалось бы, преодолел этот разрыв, провозгласив органичное единство формы и содержания, принимая за абсолютный образец первоформу, идущую от Бога. Ревниво оберегая это единоначалие, мыслитель навсегда сохранил ужас перед гносеологическим дуализмом, который, как отметил В. Эрн, коррелятивен с безумием Ницше: «Хаос жизни, не побеждаемый разумными формами, овладевающий сознанием вне этих форм, – и есть *causa materialis* безумия» [2, с. 277]. Затем В. Эрн противопоставил хаос *зидительный, родной* и одновременно *страшный* – первоначальный как «некая тёмная мощь творящей природы» хаосу, к которому приводит философия Канта – «предельная *немошь бытия*», – «хаос пустой, не имеющий никакой силы, ничего не рождающий, наоборот – всё убивающий». Этот вторичный хаос заставляет В. Розанова с маниакальной подозрительностью всматриваться в мир культуры, и даже в религии он не в состоянии преодолеть свой страх.

Так трагически развиваются его отношения с христианством: он ошибочно принимает Христа за оппонента самого Бога: «Христос перетворил по-новому человека... возмутившись сотворением отца своего», – заявляет автор «Апокалипсиса...» [5, с. 369]. Впрочем, были на этот протест и свои личные причины: раскаиваясь в «безумном консерватизме», «необузданном революционерстве» и даже антихристианстве, В. Розанов пишет: «К нему я был приведён семейным положением» [3, с. 505]. Как правило, в этом «*семейном положении*» принято видеть безрезультатные попытки добиться развода с первой женой и узаконить второй брак, но, как нам кажется, здесь присутствует и семейный опыт, полученный ещё в детстве. Неустроенность и сиротство, всегда без материнской улыбки и тепла, священник, отказавшийся пойти в дождь исповедовать умирающую мать (недавно исповедовал), отсутствие того, что называется семейным религиозным воспитанием, – всё осложнило путь к храму.

«Собственно, *непосредственно слит с церковью* я никогда не был (в детстве, юношей, зрелым)... Я всегда был *зрителем* в ней, *стоятелем* – **хотящим** помолиться, но не **уже** молящимся; оценщиком; во мне было много *любования* (в зрелые годы) на церковь <...> Таким образом, и тут я был «иностранин» – «восхи-

щённым Анахарсисом», как в политике, увы, как – *во всём*», – признаётся В. Розанов [3, с. 224]. И всё-таки он не только любит церковь – отогревается в ней: «*А тепло только тут. Отчего же тут тепло, когда везде холодно?* Хоронили *тут* мамашу, братцев; похоронят меня; будут тут же жениться дети; всё *тут*... Всё *важное*... И вот люди надышали *тепла*» [3, с. 116]. В финале второго короба «Опавших листьев» звучит розановское раскаяние: «У меня было религиозное высокомерие. Я «оценивал» Церковь, как постороннее себе, и не чувствовал нужды её себе, потому что был «с Богом». <...> Но пришло время «приложиться к отцам». Уйти «в мать землю». И чувство церкви пробудилось <...>. В отличие от высокомерной «религиозности» – «церковное» чувство смиренно, просто, народно, общечеловечно» [3, с. 510]. Современник В. Розанова С. Маковский, посещавший собрания религиозно-философского общества, увидел в этой ситуации уязвимость русской интеллигенции, взявшейся с присущей ей самоуверенностью за непосильную задачу: «Прежде всего, так ли заблуждалось наше духовенство, не поверя в искренность обращавшейся к нему интеллигенции и не допуская права её, интеллигенции, «вязать и развязывать»? Между верой в церковном смысле (как данной свыше благодати и как правды преемственного, от века в век переходящего богомудрия) и религиозным философствованием, сводящим веру к диалектике, – действительно большое расстояние. О религии лучше не разговаривать, её осуществляют – «в посту и молитве» <...> И не имел ли какого-то права сказать в одной из своих проповедей Иоанн Кронштадтский о шумевших на Собраниях интеллигентах: «умники неумные, вроде Толстого» [6, с. 47–48].

Различение церковности и религиозности выявляет в розановском тексте контаминацию: противопоставление интеллигентских *споров* (разговоров) о религии народному религиозному *чувству* как *теоретизирование* о религии *практике* церковной жизни (не это ли противопоставление породило у ищущих абсолютную истину П. Флоренского, С. Булгакова и др. желание стать священниками, чтобы *непосредственно* погрузиться в церковную жизнь). В реальной жизни В. Розанова ни первое, ни второе не получили полного развития: из религиозно-философского общества был изгнан, но и истинного воцерковления не произошло; до последнего момента он балансировал между христианством и язычеством.

В 1905 г. в журнале «Весь» был опубликован небольшой очерк В. Розанова «Мечта в

щёлку», который священник Г. Петров в своём отклике на публикацию назвал *исповедью души христианина и мыслителя*. Очерк этот странен для такого жизнелюбца, стремящегося к вечной жизни, как В. Розанов, подробным размышлением о собственных похоронах. С поразительным спокойствием описывает он необходимые приготовления к похоронам: «... пускай меня вымоют, наденут чистое бельё (...) ограбят мою душу» [3, с. 657]. Последнее замечание относится к обычаю заменять золотой или серебряный нательный крест умершего на «двухкопеечный кипарисный», «дорогой и милый» – «торговым из лавки». Если побороть смущение самым предметом размышлений В. Розанова, то останется удивление странным ходом мыслей автора: свою могилу он видит в двух вариантах. Первый, «как следует», – это место между «статским советником Иваном Ивановичем и мещанкою Анфисою Фёдоровною», на общем кладбище, а второй предполагаемый – вечный символ розановской жизни «в своём углу»: «Потому через год с немногим, когда уже всё забудется, я бесконечно хотел бы убежать с места моих «как принято» похорон и похорониться вновь по моей мучительной и одинокой фантазии» [3, с. 658-659].

В предполагаемом мавзолее должны быть стены кирпичной кладки сажени в полторы, завершающиеся заострёнными наверху гвоздями. У этого необычного мавзолея не должно быть перекрытия: каждое утро лучи солнца беспрепятственно проникают вовнутрь. Для того чтобы солнце как можно дольше, весь день, светило, стены должны расширяться кверху «воронка, опрокинутая широким краем кверху». Таким образом, от двух воронок, некогда соединённых, с помощью которых В. Розанов описывал свою картину мира, отсечена нижняя, где всё – соединение сознания с Богом, а нулевая точка, где, собственно, и происходит обращение мира внешнего в мир внутренний, замещается цветущей землёй. Эти цветы, умирая, должны были осыпать семена, прорастающие следующей весной. Так конструирует автор модель вечного возрождения.

Но модель эта любопытна ещё и тем, что предполагаемый мавзолей должен находиться за пределами России, «вне градусов России» – так предопределяет мыслитель путь к Древнему Египту. В 1900 г. был опубликован очерк «Величайшая минута истории», который вместе с последующими войдёт в книгу «Возрождающийся Египет», итоговую и в творчестве, и в жизни В. Розанова. Но уже в «Мечте в щёлку» автор озабочен бессмертием тела: «Самое тело должно быть не просто в земле, а в свинцовом

ящике, и вообще червей, гнили и растаскивания костей – не нужно» [3, с. 659]. Не здесь ли кроется секрет того, почему так ликовал он, разгадав смысл египетских мумий, как и всего единения реальной телесности и символичности в египетской культуре?

«Тут «религия» и «быт», «небесное» и «моё» так слилось, что «коровки полезли мордочками в избу», а «небо спустилось к нам в дом», – замечает В. Розанов о египтянах, называя их народом гениальным в религии, в морали и искусстве [4, с. 76]. С особым усердием исследует он фаллические изображения, изображения женского тела – символы материнства и отечества, отыскивая там исторический опыт неиссякаемой потенциальности: «И нашего изнеможения «под старость лет» они, я думаю, совсем не знали. Это тайна цивилизации и, я думаю, это одна из «загадок Египта», о которой они не рассказывали» [4, с. 241].

В. Розанов нашёл в египтянах единомышленников, которые «благородным и чистым своим мышлением» освятили основу жизни: роды, рождение, семью. В годы разрушения, смерти и опустошения В. Розанов своим утверждением и возвеличением пола противостоит реальности: его последний баланс – это жизнь/смерть, («Возрождающийся Египет»/ «Апокалипсис нашего времени»).

Подобно египтянам В. Розанов освящает и пол, и рождение, и дом с его гармонией. Но его миф – не простое повторение египетских сюжетов. Вечная жизнь – это жизнь бабочки в райском саду, не обременённая поисками пропитания (В. Розанову припомнилось, что у бабочек отсутствуют органы пищеварения). Слово зерно, упавшее в землю, умершее, а затем возродившееся в новом ростке, бабочка рождается из гусеницы, которая умерла в куколке, чтобы из кокона-гроба смогла вылететь порхающая красавица.

«К концу XX-го века типографии будут продаваться на снос, – утверждал В. Розанов в «Опавших листьях». – Люди станут опять свободны от «пишущей братии», – и м.б., тогда выучатся танцевать, устраивать рауты, полюбят музыку, полюбят обедню, будут опять любить свято и чистосердечно. Будут счастливы и серьёзны (...)

Будет опять возможна проповедь. Будет Савонарола. Будет возможен Ап. Павел.

Неужели будет? Неужели заиграют эти зори. Зори прекрасного и великого.

Новое. Всё новое» [3, с. 517]. А пока и человеку, и литературе предписано было пройти через апокалипсис...

Сделав этот прогноз, следует признаться, достаточно справедливый, В. Розанов задолго до конца XX века осуществляет свой вариант освобождения от «литературы», погружаясь в первобытное царство архетипов и первоначальных символов. Он словно впервые, точнее, ОН ВПЕРВЫЕ открывает для себя традиционные образы, восхищаясь вместе с древними египтянами скарабеем и преклоняясь перед ним, любясь порхающей бабочкой, видит в ней и покинутую куколку – умершую гусеницу. Он словно и не замечает, что в культурной памяти человечества этот символ имеет богатейшую традицию. Для В. Розанова это несущественно: он самостоятельно и в реальном времени осуществляет давно свершившийся акт. Автор трактата «О понимании» всегда верен себе: не просто отыскивает в вечной памяти архетипические по своей природе образы, а заново переживает их рождение. Так, в египетской культуре ему дорого то, что он испытывает радость *узнавания* своих откровений.

В сознании В. Розанова осуществляется сложнейший процесс: человек второй половины XIX века, увлекавшийся работами позитивиста Д. Милля в юности и сформулировавший в итоге этого увлечения тезис о том, что целью человеческой жизни является счастье, он, отказавшись затем от этого утверждения, определил для себя новую задачу: открыть *естественные цели жизни человека, составляющие его предназначение*. С этой задачей не смогла бы справиться ни одна философская система, утонув в бесчисленных сложных сплетениях жизни. Но эта задача была по плечу архаическому человеку, жившему *вложенными в его природу* естественными целями.

Для В. Розанова язычество обозначает представление о безмятежном счастье человека. Он словно надеется на то, что можно вернуть состояние мира, бывшее до грехопадения первородителей. В мифологическом сознании это совершенно естественный ход времени, состоящий в бесконечных возвращениях к первоначалу. Препятствием к таким перемещениям становится опыт, приобретённый человечеством за всю историю своего существования: В. Розанов – человек XX века, наследник почти

двухтысячелетнего христианства, и образ Голгофы не даёт покоя мыслителю «Человек стоит на двух якорях.. – заметил В. Розанов в «Уединённом». – <...> Исход и – венец; пристань «отчала» и пристань «причала». «Причал» *окончательный* – могила, и замечательно, что уже любовь приводит к ней. Но любовь – это «опять рожу» и стану для детей «пристанью *отчала*» [3, с. 101]. Язычество и христианство – это всё те же пристани в жизни писателя: «Язычество – утро, христианство – вечер» [3, с. 211], он так и не смог найти способ осуществить религиозный синтез, провозглашённый в трактате «О понимании»: *объективное* язычество не стало философией, а осталось религией, а *субъективное* христианство не стало для него единственной верой. Он балансирует между ними, но это не канатоходец, для которого реально смертельная опасность потерять зыбкое равновесие, скорее, это балансирующие весы, где точка опоры прочна и надёжна. Такой незыблемой опорой стала для писателя связь с Творцом, непосредственная и кровная, – участие в акте бесконечного творения-рождения. Вряд ли можно назвать это религией пола: В. Розанов поклоняется не полу, а Богу, сотворившему весь мир и подарившему человеку возможность осознать себя не только результатом этого творчества, но и участником, его субъектом.

Список литературы

1. Розанов В.В. Сочинения: О понимании: Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания / Ред. и коммент. В.Г. Сукача, вступ. ст. В.В. Библихина. М.: Танаис, 1995. 808 с.
2. Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. 576 с.
3. Розанов В.В. О себе и жизни своей / Сост., предисловие, комментарий В.Г. Сукача. М.: Московский рабочий, 1990. 876 с.
4. Розанов В.В. Собрание сочинений. Возрождающийся Египет / Под общ. ред. А.Н. Николокиной. М.: Республика, 2002. 526 с.
5. Розанов В. В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени / Под общ. ред. А.Н. Николокиной. М.: Республика, 2000. 429 с.
6. Маковский С.К. На Парнасе Серебряного века / Предисл. В. Нехотина. М.: «Наш дом – L'Age d'Homme»; Екатеринбург: «У-Фактория», 2000. 400 с.

**BALANCING ROZANOV:
THE PROBLEM OF RELIGIOUS CREATIVE WORK IN ROZANOV'S OEUVRE**

N.K. Kashina

Rozanov's complicated religious views shaped from pagan and Christian elements which, according to Rozanov, originated from the single Creator. Only in religious creation, as in the highest form, a man can reach a true singleness. The whole creative development of the writer from the treatise «About understanding» to «The Apocalypse of our time» and «Renascent Egypt» was filled with the dramatic search of «the true, world-wide and living religion». «The eternal philologist» V. Rozanov finds his inimitable, unique language in this search.

Keywords: paganism, Christianity, immortality, symbol, archetype, picture of the world, everlasting Fatherhood.